

ИСТОРИЗМ

Н. В. Елисеева

СТРАННИКИ ВОЙНЫ

Аннотация. Статья — отзыв на книгу Натальи Александровны Громовой «Странники войны: воспоминания детей писателей. 1941–1944», изданной в 2012 г. Это сборник воспоминаний детей советских писателей, живших в эвакуации в Чистополе, в интернате Литфонда. В первой части книги приведен рассказ о судьбах трёх погибших юношей: сына Марины Цветаевой — Георгия Эфрона, Всеволода Багрицкого и Никиты Шкловского. Вторая часть посвящена подробным воспоминаниям военного детства и быта довоенной жизни, описаны взаимоотношения писательских семей в эвакуации, работа местного радио, школьные будни и игры детей, характеры Тимура Гайдара, Станислава Нейгауза, Алексея Суркова. Переданы впечатления о педагогах интерната, которыми были Борис Пастернак, Фаина Коган, Анна Стонова, Николай Сычев, Флора Лейтес, Елизавета Лойтер, Ангелина Степанова. Борис Пастернак читал детям свои переводы «Ромео и Джульетты» Шекспира. В Чистополе прошло первое исполнение «Василия Тёркина» Твардовского, описывается рождение «Землянки» Алексея Суркова.

Ключевые слова: воспоминания о войне, советские писатели, эвакуация, Чистополь, интернат, Пастернак, Цветаева, Сурков, Гайдар, Нейгауз, Громова, Эфрон.

В последние годы вышло несколько книг о воспоминаниях военного времени, составители собирают по крупицам все подробности жизни и быта эпохи Великой Отечественной — как Наталья Громова, книге которой посвящена эта статья. Людмила Улицкая стала автором сборника писем «Детство 45–53: а завтра будет счастье». Мы все больше обращаемся к частным воспоминаниям — пытаемся сохранить достоверной личную, семейную историю, какой бы субъективной она ни была. Детали, маленькие человеческие подробности позволяют оживить официальную историю с перечислением имён и дат. Помочь внукам узнать, как это: когда вещи служили до последней нитки, а все дети играли в живые настоящие игры — на воле, на улице. Что такое двор: первая вселенная со своим мироустройством, где все соседи знали друг друга. Конкуренция и соревнование, умение ладить — этой общей души больше нет. Стоит помнить и о том, как своих детей в войну приносили подкинуть в детдома — чтобы прокормить.

Эти истории — письма в будущее. Главная, самая пронзительная нота — борьба за добро и зло, за ясный личный выбор: были примеры и отчаянной смелости, защиты, и невыносимой жестокости по отношению к детям, младенцам, инвалидам, СВОИМ! И при этом была полная

готовность спасти, укрывать, идти может быть против закона — но по моральным правилам любви, милосердия... в отношении немецких солдат и военнопленных. И в войну, и долгие годы после нее люди не жили — существовали, затравленные страхом, потерявшие человеческое достоинство, «выковыренные» из жизни. Письма тех лет помогают прикоснуться к их чувствам, пережить заново, вспомнить настоящее, нравственное измерение — ощутить, как далеко мы сейчас ушли от этого экзистенциального смысла...

В издательстве «АСТ» в ноябре 2012 года вышел сборник «Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941–1944». Автор-составитель Наталья Громова, писатель, драматург и исследователь литературного быта той поры, собрала уникальный материал и опубликовала редчайшие фотоархивы.

«Странники войны» малыши и подростки, которые оказались в эвакуации в Чистополе, в интернате Литфонда. У детей — непосредственное, живое восприятие военных лет, полное переживаниями встреч, расставаний, простых игр и радостей, а вместе с тем — страшное близким горем, смертью, отчаянием: всем тем, чем настигала детей война, от которой негде было спастись даже в тылу.

В первой части книги идёт рассказ о судьбах трёх погибших юношей: сына Марины Цветаевой —

Георгия Эфрона, Всеволода Багрицкого и Никиты Шкловского. Эти мальчики потерялись и пропали в водовороте войны: кто-то был смят одиночеством и смертью близких, кто-то от бессмысленной тыловой жизни ушел на фронт — и погиб...

Вторая часть книги посвящена подробным воспоминаниям военного детства и быта довоенной жизни, таким ярким и удивительно разным, ведь у детей в разных семьях — поэтов, переводчиков и писателей — было своё отношение к происходящему в тылу и на фронте. И героизм детей тоже был разным: кто-то помогал взрослым искать дезертиров, кто-то собирал «тимуровские отряды», а Алёша Сурков, например, стал защитником и спасителем для своей маленькой сестры в тяжёлое и бедное время, на всю жизнь став для неё идеалом, сказочным добрым волшебником, с которым можно было ничего не бояться. В те годы дети оставались детьми, и также искали игр, приключений, дружбы, соревнования, лидерства.

«Странники войны» выводят на сцену много разных характеров: и антиподов вроде Тимура Гайдара, открытого, задорного и весёлого — и сдержанного, романтического Стасика Нейгауза. Непривычным может показаться и то, насколько старшие дети опекали младших; старшие мальчики не только защищали девочек, но могли и помочь по хозяйству, и платья куклам сшить. Взрослели не по годам и умели многое, рано приходилось определять для себя ценности и моральные установки. Можно смело сказать, что ребятам повезло с учителями и воспитателями.

Интересно, как дети описывали впечатления от своих педагогов в интернате Чистополя — Бориса Пастернака, Фаины Коган, Анны Стоновой, которые всегда создавали для своих подопечных атмосферу заботы и радости. Несмотря на ужасы войны, в памяти ребят сохранилось множество глубоких впечатлений: концерты пианистки Елены Лойтер, виртуозные выступления Стаса Нейгауза, чтение Пастернаком своих стихов и перевода «Ромео и Джульетты» Шекспира, спектакли с участием Ангелины Степановой, первое исполнение «Василия Тёркина» Твардовского и рождение «Землянки» Суркова... А для нас сейчас очень яркими станут даже самые простые описания ежедневного военного быта, подробности жизни, которых мы могли бы никогда не узнать — если бы не было этих воспоминаний. Хочется отметить самые запоминающиеся строки, дать

возможность хоть немного прикоснуться к жизни тех ребят.

Высокая культура педагогов чистопольской школы сохранилась в описаниях детей разного возраста. Леонид Стонов вспоминал историю появления одного из преподавателей: «Старшие ребята рассказывали, что, проходя как-то мимо городского музея, заметили около мусорного ящика и привели в интернат худого оборванного старика. Это был Николай Петрович Сычёв, крупнейший искусствовед и художник, высланный из Ленинграда в 1935 году и потерявший семью. Николай Петрович был зачислен в штат интерната, ему выдали ватный костюм и прикрепили к нашей столовой. Раз в неделю в течение примерно года он читал нам блестящие лекции по русскому изобразительному искусству. В 1947 году, когда Николаю Петровичу после хлопот Игоря Грабаря разрешили жить в Рязани, он консультировал первую реставрацию Московского Кремля, но не имел права даже переночевать в Москве...»¹. Его реабилитировали только после смерти Сталина.

«Наши воспитатели и медицинская сестра Ирина Николаевна старались создать в интернате возвышенную духовную атмосферу любви, заботы, уважения и надежды. Хорошо помню воспитателя нашей группы удивительно эрудированную Флору Моисеевну Лейтес, привившую нам любовь к истории и литературе. Моя мама на всю оставшуюся жизнь подружилась с Елизаветой Эммануиловной Лойтер, которая впоследствии выступала вместе с великим чтецом Владимиром Яхонтовым и придумала новый музыковедческий жанр — лекции о музыке перед концертами с исполнением иллюстративных фрагментов. Она устраивала музыкальные вечера в столовой интерната, исполняя пьесы Чайковского, Рахманинова и Бетховена»². О вечерах писала и Эра Росина-Друцэ: «Так как публика была очень культурная, то к вечеру, когда сотрудники освобождались от роли воспитательниц, кухарок, уборщиц, появлялась необходимость культурного общения и общения вообще с людьми своего круга. Бывали очень славные музыкальные концерты, а то и вечера мелодекламации, старинного вида искусства, который теперь почти исчез. Часто приходил Борис Пастернак и читал переводы Шекспира, над которыми он тогда работал.

¹ Громова Н. А. Странники войны: воспоминания детей писателей. 1941–1944. М.: АСТ, 2012. С. 343.

² Там же. С. 344.

Скромный зал сидел не шелохнувшись, магия звучного слога была неотразима». Занятия по декламации вела Ангелина Осиповна Степанова, жена Александра Фадеева. Она учила детей читать стихи. По словам Елены Закс, им предлагали «каждый раз вообразить себя на месте поэта, вжиться в образ, выразить свои чувства»¹.

Ребята всегда скучали по книгам, которых не было, но им очень повезло с воспитательницей, актрисой Ленинградского БДТ Марьей Михайловной, которая сумела сотворить настоящее чудо. Эра Самуиловна вспоминает, как воспитательница привела их интернатскую делегацию к доктору, жившему на окраине Чистополя: оказалось, у него были книги. «Постучались, нам открыли. Вышел хозяин дома. Мы поклонились и попросили книгу Чехова на самое короткое время.

Доктор был пожилым и усталым. Подумав, он вернулся в дом, и молча вынес нам, на вытянутых руках, как величайшую драгоценность, как святыню, томик Чехова. Так же обеими руками Марья Михайловна приняла от него книгу, и мы попрощались с этим добрым доктором. Боже, какой это был праздник! В руки, конечно, книгу никому не давали. По вечерам Марья Михайловна читала нам рассказы Чехова, а мы, сгрудившись вокруг, слушали не дыша»².

Много было и активных занятий, которые можно примерно представить себе по старым советским кинофильмам о пионерлагерях. Для послевоенных поколений надо ещё расшифровать слово «монтажи»: по воспоминаниям Ларисы Лейтес, это «комбинированные представления из патриотических стихов и песен, танцев, а в конце обязательно «пирамида», мгновенно строящаяся из старших мальчишек, самый верх которой всегда венчал «наш» младший, тоненький и гибкий Данька Санников.

Душой всего этого была, конечно, Елизавета Эммануиловна [Лойтер]. А стихи в монтажах были в основном написаны отцами и присланы в Чистополь с фронта. Ещё мы, конечно, пели, гордясь (наш Тимур!), марш тимуровцев:

*Тимуровцев много весёлых,
Нас много в больших городах.
Нас много в аулах и сёлах,
В амурской тайге и в степях.*

¹ Там же. С. 281.

² Там же. С. 270.

*Пускай мы не вышли годами,
И нас не берут на войну,
Тимуровцы всеми путями
Крепят молодую страну...*

*У нас боевая сноровка
И сил непочатый запас.
Скорей бы нам дали винтовку,
Гранату и противогаз...*

*Команды идут, ребята поют,
Тимуровцы, шагай веселей!
За дело, друзья, лениться нельзя,
Поможем отчизне своей!*

С этими монтажами мы выступали не только в интернате, но и перед ранеными в госпитале, расположенном в городском саду»³. Работало даже местное чистопольское радио, транслируя новости, концерты, устраивая встречи с писателями и актёрами. «Талантливые люди, оторванные тяжким бытом эвакуации от своего дела, ото всего, что питает ум и душу, обретали здесь возможность творчества. Чистопольцы с огромным интересом ожидали этих концертов, благодарили при встрече на улицах — в маленьком городке все друг друга знали. Помню актёров Кайранскую и Авдеева, певицу Смирнову-Вишневскую, скрипачку Лунц, пианистку Лойтер и многих других. Борис Пастернак читал на радио свои блистательные переводы» вспоминает Гедда Шор⁴.

Поэты слали с фронта в Чистополь не только героические произведения; будущее знаменитое «Бьётся в тесной печурке огонь» Алексея Суркова было частью личного письма жене — в тот день он с другими бойцами чудом избежал смерти, невредимым пройдя через минное поле. Вот что писал о рождении «Землянки» сам Алексей Александрович: «Письмо было написано в конце ноября, после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью, после тяжелого боя, пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков.

Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации Константин Листов, не пришёл в нашу фронтовую редакцию и не стал просить «что-нибудь, на что можно написать песню». «Чего-нибудь» не оказалось. И тут я, на счастье,

³ Там же. С. 219.

⁴ Там же. С. 359.

вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи уверенным в том, что хотя я свою товарищескую совесть и очистил, но песня из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов побегал глазами по строчкам. Промычал что-то неопределённое и ушёл. Ушёл, и все забылось.

Но через неделю композитор вновь появился у нас в редакции, попросил у фотографа Савина гитару и под гитару спел новую песню «В землянке». Все свободные от работы «в номер», затаив дыхание, слушали песню. Всем показалось, что песня «вышла».

Листов ушел. А вечером Миша Савин попросил у меня текст, и, сопровождая себя на гитаре, спел новую песню. И сразу стало видно, что песня «пойдёт», если обыкновенный потребитель музыки запомнил мелодию с первого исполнения.

Песня действительно «пошла». По всем фронтам — от Севастополя до Ленинграда и Полярного. Некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага» упаднические, разоружающие. Просили и даже требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть её дальше от окопа. Но портить песню уже было поздно, она «пошла». А, как известно, из песни слова не выкинешь».

Вот так из личного письма «Землянка» стала, по сути, народной песней, вдохновляющей бойцов и всех тех, кто ждал их с фронта, ждал и любил. Никому не удалось изменить её строчки, хотя долгое время песня была официально запрещена, и даже тираж пластинок, на которых записали первое исполнение — Лидией Руслановой — уничтожили. Много лет спустя, в далеком 1999 году, в столетие со дня рождения Суркова, под Истрой, в деревне Кашино, будет установлен памятный знак, посвященный «Землянке». Историю песни сохранит в этом истринский молодежный клуб «ИСТОК», руководит которым Сергей Борисович Лавренко.

А в то далёкое военное время Алексей Сурков, фронтовой журналист и поэт, продолжал писать, и прошел с армией до Берлина. На его стихи была создана Борисом Мокроусовым ещё одна всемирно известная песня, которая уже не вызвала ни у кого сомнений — «Песня защитников Москвы». Она вошла в документальный фильм об обороне города, который по распоряжению Сталина начали снимать в ноябре 1941 года.

В фильме показали все подробности обороны: запуск аэростатов, сооружение укреплений, приём добровольцев в истребительные отряды, производство боеприпасов, колонны бронетехники на столичных улицах, бои на подступах к Москве, Туле, Сталиногорску, уничтоженные деревни, разбитую немецкую технику, убитых и плененных немецких солдат. В 1943 году фильм показали на американском кинофестивале под названием «Москва наносит ответный удар» (“Moscow Strikes Back”); он получил первый в СССР «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Официальные торжественные ленты нам знакомы давно — тем ценнее самые незначительные подробности, впечатления, переживания детского ежедневного быта: только через такие воспоминания можно представить себе обычный для чистопольцев день, которого не увидишь в официальной хронике. О чём думали, во что играли, как дружили эти дети. Как делили жильё с местными селянами и враждовали с местными ребятами, как в жару убрали поле, как мерзли зимой, когда чернила в классах замерзли ледяной корочкой, и не было ни книг, ни игрушек, а тетрадки дети делали сами и линовали вручную. Как воровали сырую картошку и тут же ели — пока не застучали. Как погибали и взрослые, и дети без лекарств — от простуды, как голодали и отдавали всё, что только было — за еду. Как ходили писатели на рынок по-разному: кто с напёрстком за мёдом, кто — прихватить всю бочку мёда целиком, а заодно и гуся в придачу... Как мучительно пытались выжить, получить разрешение на жильё и работу в эвакуации — и, не получив разрешений, умирали без помощи. Как продавались вещи Марины Цветаевой после её самоубийства — и как модницы хвастались потом своими приобретениями. Как умирали ужасной смертью ребята после взрыва, попытавшись разобрать «учебный» снаряд, невесть как попавший во двор военкомата...

Самые жуткие истории — о том, что помочь всем было невозможно: накормить, найти одежду, хоть какой-то угол для жилья. Вспоминали, как Якова Федоровича Хохлова, директора интерната Литфонда, проклинала женщина, которой он не дал сульфидин... У женщины умирал ребенок, но она была «не из своих», не литфондовская, а Хохлов не имел права отдавать медикаменты на сторону. Не было никакой общей для всех морали, каждый выживал, как мог.

И дети умели делать всё: убирать, стирать, мыть полы, полоть огороды, многие мальчишки

умели шить, готовить, строить, сажать. Педагоги старались научить их самостоятельности и взаимопомощи, без которой было не выжить. Эра Росина-Друцэ описывала, как тяжело было городским девочкам заниматься хозяйством, мыть полы, жить тем, что смогли вырастить. «Мы должны были кормить сами себя, и ближе к весне нам выделили своё поле. Сажали картошку, капусту, морковь. Потом день за днём ходили пропалывать, ухаживать за своими посадками. Поднимали нас затемно, в четыре утра, и мы шли, полусонные, четыре с лишним километра к своему полю. Поработав, возвращались, завтракали, шли в школу, делали уроки, и опять в поле»¹.

Местные называли приехавших в эвакуацию — «выковыренные». Потерянные, неприспособленные, чужие. Для меня самой дикой и страшной осталась история жизни цветаевского сына Мура, Григория Эфрона. Его никто ни к чему не успел подготовить — ни к бездомному существованию, ни к уходу матери, ни к полной потере всех мыслимых опор и оснований. И матери, и ему отказали в поддержке; мать ушла, и ему пришлось взрослеть, перерастая в этих переживаниях всех своих сверстников. Борьбу с бытом за выживание он унаследовал от матери, и вечные метания без ответов. После Чистополя Мур добрался до Ташкента, пытаясь найти своего знакомого — безуспешно. «До Ташкента я фактически не жил, пишет Мур тётке 21 июля 1942 года, в смысле опыта жизни, а лишь переживал: ощущения приятные и неприятные, восприятия красоты и уродства, эстетически перерабатываемые воображением. Но непосредственно я с жизнью не сталкивался, не принимал в ней участия. Теперь же я «учусь азбуке» потому что самое простое для меня — самое трудное, самое сложное». Он говорит, что тяжело дается такой опыт — когда он осваивает мораль и нравственность вживую. Как трудно не украсть, когда ты голоден, как трудно не обмануть, когда болен и заброшен.

О Муре сказано очень много страшных вещей — о том, как он был равнодушен к матери, как отрицал всё, что дала ему семья. Он понял это слишком поздно и писал потом в письме о ценности семьи, которая была безнадежно потеряна. Но и он сам был потерян, никому не нужен и не было у него старшего мудрого советчика. Неприспособленный к жизни, он был одинок, и его глухая оборона от мира было на самом

деле — защитой. Достоинство, перемолотое несчастьем... Его инаковость так и не выправилась ничем, ни пребыванием в советском коллективе, ни потрясениями; он сам писал о том, что «остаётся дикобразом, даже вынося на помойку ведро». Гедда Шор очень точно передала это впечатление: «... его царственное высокомерие дезориентировало в такой степени, что, казалось, перед нами сидел не осиротевший так страшно мальчик, а самоуверенный красавец, сын знаменитой Цветаевой, милостиво разрешающий на себя посмотреть. Стонова обращалась к нему на «вы». Это было беспрецедентно: всем детям говорили «ты». Но, обращаясь к Муру, взрослые не могли избежать интонации придворного учителя, говорящего с королем-школьником: «Ваше Величество, Вы ещё не приготовили уроки». Мур казался совершенно взрослым. Так бывает с особенно породистыми детьми. Сегодня я назвала бы его римлянином: много ума, надменности и силы во взгляде. Сверстники до такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было неизбежно.

В те страшные, военные дни осени сорок первого мы все от мала до велика слушали сводки Совинформбюро. Но никто из детей не слушал их так, как слушал их Мур. Спросили бы меня тогда, как это так? — я бы не сумела ответить. Так слушали сводки раненые в госпитале. Потом я это увидела и сразу узнала. Узнала Мура, но не нашла слово. Сегодня это слово знаю: причастность. Что делало его причастнее сверстников, которым, как и ему, предстоял фронт? Его зрелость, опережающая возраст? Трагедия семьи, неотступное злосчастье, взорвавшееся самоубийством матери? Он, как те раненые в госпитале, уже был ранен»².

Гедда Шор сравнивала его светлые глаза в темном ободке — с мишенью. Так и вышло: Мур не сумел избежать смерти. Он был убит во вторую неделю своей войны...

Мур вынужден был определять себя, но в ту же ситуацию попали многие дети в эвакуации. Все вынуждены были делать для себя серьёзный моральный выбор, определять свой категорический императив: между моралью общественной, коллективной, и семейной, и собственной, личной, своей. Подобный двойной стандарт описал Виталий Хесин, изложив историю со слов его старшей сестры Тамары. На момент начала войны ей было 12 лет, так что «воспоминания

¹ Там же. С. 264.

² Там же. С. 362.

у неё более отчётливые. Она, в частности, хорошо помнит, как несколько интернатовских девочек пришли к поэту Николаю Асееву и начали ему выговаривать, что он плохо обращается со своим папой. У старика действительно был жалкий вид, когда он с судками приходил в интернат за обедом, и, возможно, от него и узнали, что сын и жена сына к нему плохо относятся. Все тогда были тимуровцами, старались поступать только по совести и требовали наказывать тех, кто с их точки зрения вел себя «не по-коммунистически».

Тамаре не хотелось, чтобы поэт, хорошо знавший нашего папу, узнал её, и она взяла у подруги, Татьяны Ржешевской пальто и шапку, считая, что таким образом выдаст себя за неё. Николай Николаевич, конечно, её сразу вычислил, но на его возглас: «Как, и ты, Тамара Хесина, здесь?» ответила убеждённо и гордо: «Я никакая не Тамара, я — Ира Ржешевская!» Изменилось ли его отношение к отцу после их визита, она не помнит.

Среди воспоминаний чистопольцев есть и долгие истории — длиною в жизнь, когда страх и опасения за семью вливаются во все события с самого раннего детства. Например, Софья Богатырёва (Ивич) рассказывала о постоянном ужасе ожидания арестов еще до начала войны, об инструкциях, которые давали детям: куда бежать ночью, если родителей «заберут» чтобы не увезли малышей в детский дом. В 1938-м «слушают чутко: не остановился ли «черный ворон» у подъезда, лифт у дверей квартиры. Перед Рождеством опасность подходит вплотную к нашей семье: арестован первый журналист страны, герой гражданской войны в Испании Михаил Кольцов, главный редактор журнала «Огонёк». А в «Огоньке» работает моя мама. Маму куда-то вызывают, она на долгие часы исчезает из дома, и я слышу, как отец меряет шагами квартиру, бесцельно переходя из комнаты в комнату». И у тех, кто не попал в лагеря, судьба не самая лёгкая. Софья Богатырёва описывает 1949 год: «Мой отец объявлен космополитом, антипатриотом. Я читаю об этом и не могу свести концы с концами: он воевал за нашу страну, я так горжусь его боевыми наградами! Кто же тогда патриоты, если не такие, как он? И что значит это длинное, новое для меня слово космополит? Я смотрела в словаре, но так и не поняла, причём тут мой папа, всю жизнь проживший в России русский писатель. И как это так: газета называется «Правда», а там всё врут про моего отца? В школе учителя стараются пореже смотреть в мою сторону и почти

не вызывают к доске: им жутко произносить вслух мою антисоветскую фамилию. Родители подруг запрещают дочкам заходить ко мне. Наш дом стал сам на себя не похож: молчит телефон, молчит звонок на дверях»¹. Позже страх не ушёл: и в 1969-м, с событиями пражской весны, продолжались обыски, а Софья с мужем прятала самиздатовскую литературу и чемодан с бумагами А. Д. Сахарова.

Виталий Хесин вспоминает произошедший с ним эпизод: «Со мной во дворе заговорила девочка-соседка, и другая потянула её за рукав: «Как ты можешь разговаривать с сыном врага народа?». А у самой этой «правильной» девочки мама была арестована в тридцать седьмом году, и папа, правоверный коммунист, отрёкся от жены»².

Легче не стало и после войны: продолжались аресты, к пятидесятому году разогнали, например, кафедру зарубежной литературы в ВИИЯКе — в ходе борьбы с низкопоклонством перед Западом. Эту историю рассказывает Елена Закс, мать которой, блестящая переводчица и педагог, стала жертвой подобной травли, а сама она — бежала от антисемитской кампании по борьбе космополитизмом в технический вуз, надеясь, что среди цифр нет места «этой пакости».

Когда читаешь воспоминания детей, снова и снова испытываешь чувство, что с объявлением победы 9 мая 1945-го война не закончилась вовсе: и страх, и беспомощность, и голод остались. И с отношением ко многим нерушимым ценностям этим детям еще предстояло со временем разобраться. Из воспоминаний Людмилы Голубкиной: «9 мая нас разбудили соседи. Они стучали в дверь с радостными криками: «Включайте радио! Победа! Мир! Победа!» Я не стану описывать этот день. Он уже много раз был описан — обнимающиеся люди, взлетающие вверх военные. Казалось, весь город высыпал на улицы и площади. Упомяну только невероятное, ни с чем не сравнимое потрясение одиннадцатилетней девочки, увидевшей вечером в тёмном небе портрет Сталина, парящий в скрещенных лучах прожекторов. Мне казалось, что я вижу Бога. Господи, как мы странно жили! Многомиллионный народ, одурманенный до невменяемости. Конечно, были люди, и теперь я знаю, что немало, которые понимали, что происходит. Но основная масса жила по законам древних племён, поклонявшихся идолам и смутно представлявших себе устройство мира. Поразительно,

¹ Там же. С. 185.

² Там же. С. 251.

но в этот разряд попадали и очень неглупые люди. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Что это? Подхалимство? Конъюнктура? Зablуждение? Или искреннее ощущение величия, перед которым нужно преклоняться? А Гитлер? А Мао Цзедун? Может быть, в этом разберутся будущие историки и философы. Хотя вряд ли. Скорее всего, это будет отложено до Страшного суда»¹.

Подводить итоги книги памяти — вряд ли возможно, слишком разные по накалу страстей, по уровням памяти эти рассказы. Известно только, что дети писателей собираются на встречи до сих пор, каждый год. То, что было самым ценным за время эвакуации в Чистополе, и остаётся таковым сейчас, хорошо описала Лариса Лейтес: «Я знаю, что интернатские дети по-разному вспоминают эти два года. Кому-то было очень плохо в силу субъективных причин. Но не ошибусь, если скажу, что большинство может повторить слова Пастернака: «В Чистополе мы всё-таки жили хорошо, хотя бы потому, что нам всегда очень приятно встречать друг друга». Да, мы почти голодали, много болели, зимой очень мёрзли. А летом было слишком жарко, работать в колхозе было трудно. И главное — постоянным грузом висело сознание того, что идет война, что гибнут люди — даже у нас, самых младших в интернате.

Но мои главные воспоминания не о трудностях, а о том, как нам читали замечательные книги, о наших занятиях балетом, немецким языком, о театральных постановках, литературных монтажах, выступлениях в госпитале. И об отношениях между людьми — о взаимопомощи, о солидарности. И я никогда не устану повторять, что два военных года в Чистополе были самыми наполненными, самыми осмысленными и важными во всей моей жизни, что оказалась длинной...»².

Книга Громовой завершается на светлой ноте, но страх не отпускает, он будет только нарастать — и послевоенное время принесёт свои жуткие плоды. Природа страха зависела от того, какой выбрала себе маршрут писательская интеллигенция. Для тех, кто входил в советскую реальность, была задача вписаться — любой ценой, убить в себе интеллигента, убить в себе прошлое, чтобы оно не мешало войти в новую жизнь. Новое казалось живым, старое казалось — мёртвым. Те, кто родился в 90-х годах (М. А. Булгаков,

А. А. Ахматова, М. И. Цветаева), имевшие в запасе гимназии, десятилетие при прежней власти, держали связь с прошлым гораздо крепче. Наталья Громова рассказывает: «Когда потом, обламывая себя, они приходят в тридцатые годы, возникает первая чудовищная развилка, когда надо не просто уже приспособиться, а стать «инженером человеческих душ». Сталин говорил, что души воспринимаются как товар, то есть «мы даем вам блага, а вы должны производить продукт, вести и направлять». И многие не успели понять, когда пришлось отдать свою душу. Поначалу было ощущение, что мы достигнем общего результата, и ради него не страшно постараться всем. А. Н. Афиногенов написал как раз в то время «Ложь» и «Страх», две поразительных пьесы... Они искренне думали, что это необходимо, что надо сделать перенастройку общества. К концу тридцатых годов стало понятно, что душу отдали. Единственный, кто вызывал у всех полное смятение и ужас, кто не пошёл на всё это, был Борис Леонидович Пастернак...». Страх пришел с репрессиями. И он принял уже совершенно другие формы, перестав быть глубоко бессознательным.

Начинается с большим разломом и деидеологизация: уничтожают и крестьян, и церкви, обслуживающие крестьян, идет вытеснение индивидуального, чтобы все стали механизмом для переустройства государства. Начались первые расстрелы. По инерции многие продолжали что-то делать, повинаясь какой-то общей цели: «там фашизм, мы должны показать!..» Часть верила, что действительно существуют шпионы. Ужас был у Ольги Берггольц, которую в итоге выпустили — измучив, истерзав, выбив ребенка — вот тогда наступило страшное прозрение. Она говорила, что её тюрьма — это начало победы над фашизмом. Многие, когда началась война — и Ахматова, и Пастернак, и другие, говорили, что война в таком начале — это расплата за ложь... Что это общая ложь в таком количестве привела к тому, что мы отступаем, что завтра окажемся под немцами в Москве. И это ощущение воздаяния из дневников, писем, разговоров всё время проникает.

А те, кто уехал в эвакуацию... И в Чистополе, и в Ташкенте, начинаются поразительные вещи: это область свободы. Их там не трогают, про них забыли. Там выстраиваются свои миры, и там каждый начинает подводить свой итог двадцатого века. Ахматова — «Поэма без героя», у Пастернака зарождается мысль о «Докторе Живаго», Федин пишет «Горький среди нас». С другой стороны,

¹ Там же. С. 398.

² Там же. С. 225.

до Сталинградской битвы власть настолько боится, что война повернется не туда, что начинает разрешаться лирика. 8 марта 1942 года открывается в газете «Правда» стихотворением Ахматовой «Мужество». Разве это можно вообще себе представить?! Да, так было: пожалуйста, пишите о том, что вас волнует, говорите о личном. Но — ровно до Сталинградской битвы. Потом маятник идет уже в другую сторону...

Но все равно возникает безумная идея, что после войны жить так же уже будет невозможно. Алексей Николаевич Толстой в дневниках писал, что после войны будет НЭП. Мы должны жить по-другому! Ахматова писала кому-то, что её сделают главным редактором журнала «Звезда», что обязательно предложат. Кривая картинка, странное ощущение победы. Те, кто пришел с войны, думают, что они сейчас будут говорить о войне правду. И действительно, в первые годы мы получаем «Звезду» Казакевича, «В окопах Сталинграда», но это проходит по узенькой дорожке 1946-го года... Они выговариваются о начале войны, и это будет потом отмечено в тайных донесениях: «Как?! Они пишут, что мы всё сдавали!!». И потом вдруг приходит постановление о «Звезде» и «Ленинграде». В блокадный Ленинград присылают самолет за Зощенко и Ахматовой. Почему именно за ними? Поток сошлись, история ведь состоит из тысячи ниточек; выскочила история, когда Фадеев бил Зощенко за страшное произведение 44-го года. Ахматову посетил Исайя Берлин, и тут возникла история с Черчиллем... Всё сошлось. Попались именно эти два имени в тот момент.

Потом начинается самая отвратительная эпоха, исследованию которой посвящена еще одна книга Натальи Громовой «Распад. Судьба советского критика. 40–50-е годы». Рассказана история Марии Иосифовны Белкиной, которая написала «Скращение судеб». Она была женой Анатолия Кузьмича Тарасенкова, с фантастической репутацией «двойного человека», двойной судьбы. Ариадна Эфрон о нем говорила, что он «живет на два профиля». Когда он умер, Пастернак сказал, что «сердце устало лгать». Это история человека, который любил поэзию, обожал Пастернака. При этом Тарасенков дважды отрёкся от него. В 1937-м он пишет статью, выступает публично; второй раз — в 1948-м году. Мария Иосифовна написала о нём «дважды отрекшийся». Тогда она говорила, что не способна еще раз пережить 40–50-е годы, что это невыносимо, они гораздо страшнее 30-х.

Если тогда еще во что-то верили, то потом лгали все. Все участвовали в отвратительных вещах, все было мертво. Тарасенков писал в газету «Культура и жизнь», которую все называли «Культура и смерть». Слова умирали, всё написано мертвым языком. Но парадокс Тарасенкова в том, что он не только любил, но и собрал всю поэзию, по его записям потом сделали огромные справочники. Он наизусть записывал стихи Цветаевой, у него было полное собрание её сочинений. Она к нему как-то приехала и увидела эти переплетенные маленькие книжечки. Он умер в день открытия XX съезда, 43-х лет, и успел подготовить книгу Цветаевой, Бунина...

Это время, когда происходит распад текста, распад писательского сообщества полный и окончательный, появляется атомная бомба. Время страшнейшего распада. И удивительно, как из этого времени выходит потом шестидесятиничество. Приходят люди, живущие прошлой, той, настоящей поэзией, обожающие Пастернака. Они готовят поле будущего. Тот же Твардовский (первый «Новый мир» выходит в 1951-м году) идет в духе всей команды: печатают Гроссмана. Тарасенков — замглавного редактора «Нового мира», и они пытаются напечатать его «за правое дело».

Тут начинается «дело врачей», Тарасенкова снимают, Гроссман запрещён, Твардовский и Фадеев каются, но проходит год — и они уже кричат, что «мы хотели, мы мечтали печатать Гроссмана!» Фадеев тогда учил Тарасенкова очень странному ремеслу: он говорил «мы должны бить своих, чтобы нас не били сверху». И он тогда уничтожил, сдал огромное количество своих близких людей. И движение к самоубийству видно из этого последнего времени.

Картина невыносимых, немотивированных уничтожений людей. Для нее было безумно трагично, что Тарасенков попал во все это... На войне он не боялся, а после войны его стал ломать этот страх. Было понятно, что он просто разорван напополам...

Вот из таких людей состояла эта чудовищная эпоха. Мне было безумно интересно увидеть эту ситуацию, не отлакированную. Мария Иосифовна совершила своего рода подвиг: позволила сказать о муже всё, до конца. И тем самым дала мне понять, что дело разбора той эпохи — начинать разбор с самого себя.

Выйти чистым было невозможно. Люди рассказывали, как их вербовали. Эта паутина

оплетала абсолютно всё, и более того — была заброшена в будущее, когда на людей клеветали. Крючки были расставлены везде. Стучали все, поэтому каждое слово с каждым человеком надо было контролировать.

Нынешние драмы всё равно из прошлого — недолечены, недожиты, непоняты даже сейчас. Но я верю в силу живого слова: оно поразительно пробивает мёртвое. Люди ведь всё

равно записывали, запоминали настоящее слово. Занимаясь советской литературой, ты сдираешь покров лака, и оттуда поднимаются живые ростки — того, что они прятали, того, что они хотели, какими они были на самом деле. Это невозможно ничем уничтожить, это невозможно закатать. Думают, что можно победить настоящее в людях — силу творчества, любви... Нет. Не могут!».

Список литературы:

Громова Н. А. Странники войны: воспоминания детей писателей. 1941–1944. М.: АСТ, 2012.

References (transliteration):

Gromova N. A. Stranniki voyny: vospominaniya detei pisatelei. 1941–1944. M.: AST, 2012.